

[\(начало статьи здесь\)](#)

Обратимся к социологии и социальной психологии. На первый взгляд, малые и большие группы — просто гнезда норм, которые определяются их участниками (нормы малой группы непосредственны, большой — усложнены промежуточными нормами). На самом деле и здесь проводится различие между нормативной системой и нормой участия. Социальный индивид «вставляется» в статусно-ролевые иерархии на правах пользователя набора прав и обязанностей, прикрепленного к его позиции. Норма для социологии и социальной психологии не столь паллиативное понятие, как для классического языкознания, но, тем не менее, она производна от системы групповых отношений, истории общности, организации общественного разделения труда, иерархии ценностей и т.д.

Примерно так же дедуцирует отношение закона к его исполнению юриспруденция. Правовая норма определяет положение индивида внутри правовой системы. Легитимные основания закона могут простираться от божественного права до простого прецедента. Однако кодифицированный свод норм обязателен к исполнению, каковы бы ни были моральные суждения по поводу его применения. *Dura lex, sed lex*. Примат системы здесь утверждается властью, и очень часто насильственно. Система права по возможности кодифицирует все правила поведения, которые подпадают под действие закона. Для областей, на которые распространяется данная регуляция, правовая норма есть некоторый способ использования законов данной сферы в виде закрепленных коллективных практик. Правоспособные субъекты права реализуют свои права (используют законы системы) в некоторых индивидуальных или коллективных вариациях.

Наибольшее приближение к принципу квотного участия в понимании нормы мы находим в экономике, причем не в высокой теории, а в хозяйственном обиходе. Экономическая норма регулирует производство и распределение. Нормы выработки, прибыли, потребления есть квоты общества на использование индивидов, их физических, психических, профессиональных и других качеств, а также квоты индивидов на потребление определенного общественно-культурного блага. С одной стороны, квотный подход соседствует с чисто хозяйственными мерами расхода и получения благ, вроде нормы посева семян или нормы привеса скота, а с другой — с антропометрическими и психометрическими критериями (физическая, умственная, психическая и т.д. нормы). Последние тоже «экономичны», поскольку позволяют обществу и его инстанциям оценивать системный баланс затрат и накоплений общественно-культурного богатства. Диалектика системы состоит в регламентированном обмене целого с его единичными носителями, которые в качестве единиц системы участвуют в этом обороте, но в качестве индивидуальных единиц отделены от нее и вынесены в некую эпифеноменальную, внесистемную страту. Нормативный подход имеет обоснование или иную общественно-экономическую целесообразность, гарантом и обоснователем ее может быть только определенный социальный институт. Иногда (в случае языка)

квотная природа нормативности скрыта, в экономике и праве она более эксплицитна.

В континууме норм мы видим нарастание обязательности, фиксированности, однозначности к центру общественно-политического и культурного равновесия. Наиболее жесткие нормы — грамматики, уголовного права, выработки и распределения — охраняют общественные устои: коммуникацию, обучение, управление, общественную и личную безопасность, материальное благополучие. При разворачивании во времени норма как индивидуально-коллективная квота превращается из «порции» в трансформационный ряд эталона. Например, языковая нормативность представляет собой континуум правил, различающихся по объекту приложения и жесткости исполнения. Грамматика не оставляет возможности для выбора, орфоэпия довольно либеральна, а стилистика и вообще анархична, поскольку заменяет обязательные правила ориентациями на образцы.

Асимметрия отношения между частью и целым завуалирована идеологией, но никакая идеология не может эталонировать базисные потребности человека, переписать голоса людей в стандартные хоровые партии. Самый самонадеянный общественный строй лишен примата вечности и универсализма, который гарантирован мирозданию. Как ни имитируй общественное установление под природосообразное целое — все равно бессмысленно скрывать его человеческое происхождение. Что и как совершается в жизни земной и будущей *per hominem* и *ad hominibus* — эти вопросы преследуют и вечные религии, и вечные империи. Понятно, что обществу делегировано не только поддержание совместного проживания людей, но и гарантирование их самости, т.е. состояния индивидуальности для каждого. Я не могу углубляться здесь в философию социальной справедливости и личной свободы. Моя цель — определить нарратив как культурно-исторический канал, данный человеку для самовыражения.

Указанная функция нарратива объяснима набором его свойств. Во-первых, общечеловеческой универсальностью; повествование — такой же атрибут *Homo sapiens*, как прямохождение и речь, присущий любому человеческому существу с раннего возраста. Во-вторых, общедоступностью; рассказчику ведь не нужны инструменты и материалы, как художнику, скульптору или музыканту. В-третьих, произвольностью; если и можно говорить про обучение рассказу, то, по-видимому, это происходит спонтанно, в игре. В-четвертых, полиморфностью и гибкостью, способностью видоизменяться от безыскусных речений до высокого искусства. В-пятых, синкретизмом своих разнообразных составляющих: слова и буквы, прямой речи и косвенной характеристики, изображения и доказательства.

Из тех же особенностей произрастают и две другие функции нарратива: отражательная (миметическая) и коммуникативная. Отражение реальности литературой, как оно подавалось теоретиками реалистического искусства — такое же следование Иному, которое было предписано объективной науке, только не в формулах, а в образах. Общая культурная праформа искусства и науки — магия — соединяет рабское имитирование внешнего мира со стремлением этим миром посредством имитирования овладеть. У самовыражения с мимезисом сложные отношения. Невозможно пройти мимо известной особенности искусства действовать наперекор фактографии, «остранять» ее. Как

любил повторять Л.С. Выготский, искусство — летательный аппарат тяжелее воздуха, оно отталкивается от среды, в которой находится. Отталкивается и от фюзиса, природного закона, и от номоса, квоты социального участия. Катарсис — классический пример искусственного разыгрывания антинормы ради создания индивидуальности. Эффект эстетического очищения действует по мере того, как зритель (слушатель, читатель) узнает историю аномии и участвует в ней, идентифицируясь с героем. Историки культуры утверждают, что греческая трагедия воспитывала гражданина. На это трудно возразить, хотя история волнующих событий вряд ли укладывается в назидательное резюме. Более надежным критерием эстетического эффекта является целостность впечатления, возникающего в сшибке разнонаправленных и крайне противоречивых суждений. Разнородность и децентрированность повествования, выявленная постструктурализмом на примере письменных текстов, сильно возрастает, если мы возьмем весь разброс повествовательных признаков и уровней — от выглаженных под логику идейно-художественных схем до образного слоя, чреватого эмоциональными потрясениями, едва ли поддающимися какой-либо рационализации. Выстроенное так повествование является подобием негативной свободы. Вбирающее всю гамму единство художественного впечатления объединяет «надводные» части повествования с «подводными». Даже логически безупречные сочинения могут вызывать очень сильные переживания своей подводной частью — образом, который уходит в со-матику.

Художественный синтез охватывает потрясенного свидетеля повествования-действия и ненадолго сливает его возбужденную соматику, образные впечатления, мышление, память, моральные представления воедино под эгидой фабулы. Очевидно, в эти мгновения он приобщается к опыту самости и является индивидуальностью. Однако объяснить эти состояния *post factum* мало кому удастся. Целостность существует, но ее нельзя зафиксировать хотя бы потому, что сообщение передается.

Распространять механизмы художественного воздействия на всю нарративную сферу рискованно, да и не входит в мои намерения, но кое-какие аналогии просматриваются. Нарочитость и неправдоподобие высокой трагедии (выпад против природно-логического порядка) в сочетании с аномическим поведением героя (выпад против нормы участия) расчищают аномативную площадку, на которой можно переживать кратковременный опыт самости, а также гражданские уроки ее социализации. Если мы сопоставим перечень условий катарсиса с приемами рассказывания, то, вероятно, найдем немало сходных моментов. То размыкание нормативной поверхности, которое в большом искусстве достигается концентрацией художественных приемов, по-вседневному нарративу удастся вследствие обыденности, аморфности, непритязательности, незаметности, повсеместности. Он — слишком мелкая рыбка для нормативной сети, да, кроме того, имеет внутренние ограничители против «лжи», «бессмыслицы», «невразумительности», «неправдоподобия», «болтовни» и других прегрешений. Избранные постмодернистами в качестве образца неидеологического дискурса «малые нарративы» удостоились этой чести из-за особой чуткости к персональным смыслам, гибкой семантики, адсорбирующей интенции говорящего.

Итак, самовыражение смыкается с коммуникацией в той степени, в которой последняя

представляет собой трансляцию смыслов. На это указывает даже орфография: между самостью и выражением нет и дефиса. Передаваясь от индивидуальности к индивидуальности, Самость избегает нормативной фиксации. Момент создания интимно совмещен с передачей. Вот где поистине — кто больше расточит, тому больше прибудет. Эмпирическая психология речи, нисколько не имея в виду нарративную норму, находит уже в психофизиологическом кодировании речевого высказывания ориентацию на другого. Примеры эстетики, легко дополняемые исследованиями устного творчества, показывают, что в повествовательной коммуникации человек представляет собой сложное соматически-семантическое единство, живой организм, заряженный смыслами. Поскольку рассказ — не механическое, а живое, органическое целое, то, нашпигованный разнородными, разнонаправленными составляющими, он обречен взрываться. Это называется коммуникацией, передачей смыслов. Индивидуальность-в-трансляции есть род смысловой бомбы, и образ кратковременной аксиологической целостности, взрывающейся фейерверком свободных смысловых радикалов и оседающей в такую же моментальную самость реципиента, является весьма правдоподобной моделью ценностной коммуникации. Едва ли так опишешь механизм повествовательной генерации, но про-иллюстрировать «волновой», нефиксируемый характер самости можно.

Очевидно, что «собирая» порождающе-коммуникативный механизм того смыслового единства, которое называется самостью, индивидуальностью, «Я», мы исполняем долг научной корректности, велящей строить предмет исследования с помощью гипотез и фактов. (Автор этих строк попытался воссоздать пределы генерации в системе, называемой антропокультурой. См.: [7]). Наше Я может быть вставлено в такую систему в качестве элемента или в рассказ в качестве эгоцентрической позиции автора, персонажа, слушателя-читателя. Научное изучение предметно-рефлексивных последовательностей чревато известной трудностью, подмеченной еще О. Контом на примере интроспекции: субъект должен наблюдать себя в качестве объекта, а это не легче, чем увидеть собственную голову в окне. Объективная психология XX в. предпочла отделить голову от туловища и заспиртовать для анализов. В таком безголовом существовании она не усматривала больших неудобств: ведь таким способом устраняются смысловые разрывы (которые и есть самость, индивидуальность, Я). Сшитая из кусочков лента изучается как целая вещь, притом что и ампутированные части подвергаются отдельному анализу и могут быть вшиты в познаваемую реальность. Новейший пример ампутации «Я» — нарративная психология. Она ставит между нарративно-повествовательными образованиями и «Я» знак равенства. Таков радикальный ответ психологическому эссенциализму, поиску структур, систем, факторов, посредством которых глаголет все та же надчеловеческая сущность человека. Дискурсивные selves западных конструкционистов не имеют метафизического привкуса русских «Я» и «самость». При таком подходе излишне искать исходно репрессированное Я, которое пытается рассказать о спрятанной в его раннем опыте травме, а равно считать, что Я забалтывает тайну своего происхождения. Я создается в рассказе. В рассказе содержится и оформление (выражение) индивидуальной неповторимости отдельной жизни, которая (индивидуальность, неповторимость) и есть для человека самость. Но форма самости, т.е. способ ее выражения, указывает на то, что самость квотирована, сжата. Кто и как распределяет благо самости, как самость

пытается быть собой и не распределяться, — это сам по себе важный и, может быть, главный сюжет рассказывания. Лингвистический релятивизм дополняется постструктуралистской политкультурологией, которая показывает, как власть-знание фабрикует конструкторы, называемые личностью, индивидуальностью, человеком, самостью. Постструктурализм пытается избавиться от кво́тирования самости, изучая социально-политическое производство последней и ее языковое конструирование. Но очищается ли наше рассуждение с отказом от таких метафизических рудиментов, как «самость», «Я», «индивидуальность» (или, по крайней мере, с преобразованием их в технико-лингвистические конструкторы)? Не колеблемся ли мы между двумя языками описания одних и тех же реалий — более конкретным, прагматическим, свободным от эгоцентрических ловушек и более метафизическим, эссенциалистским, засоренным смесью рефлексии и сциентизма? И не лучше ли, обнаружив в нарративе выпестованное культурой начало смыслообразования, оградить его от научного присмотра, ограничившись щадящей степенью соучастия с его хозяином — человеком говорящим, рассказывающим, придумывающим? С постмодернистской точки зрения — да, и наше Я состоит в рассказывании. Однако, сознавая социальную сконструированность Я (в том числе и той его части, которая занимается критическими рассуждениями) и стремясь к его освобождению, следует отдавать себе отчет в апории, которая преследует всякую эмансипацию: чтобы кого-то освободить, надо сначала позаботиться о его порабощении. Пока баланс освободителей и эксплуататоров удастся поддерживать, но грядут такие времена, когда последних, возможно, придется воспроизводить с особой тщательностью. Я разделяю мнение либерализма о том, что человека надо оставить в покое, и отношу этот призыв в том числе и к психологии. Предел и цель эмансипации мы находим, как ни странно, в картезианском Я, которое, мысля, существует, а если не мыслит, то, следовательно, и не существует. Сходство с рассказываемым Я, которое существует рассказывая, а если не рассказывает, то не существует, очевидно: надо только заменить «мысль» на «рассказываю». Иначе говоря, у всякой антиметафизики существует метафизический горизонт — или «Я есмь сущий», или непосредственное приватное Я секуляризованной личности.

Основное возражение исследователям психологического дискурса: они хотят удалить из смыслового поля европейской культуры его главный концептуальный персонаж, по крайней мере редуцировать его до лингвистического конструктора. Лабиринты рассуждений опять приводят нас к «Я есть», которое обязательно должно быть до «Я есть рассказ». Это напоминает катарсический эффект уничтожения формы содержанием. Но «уничтожение» здесь — не эстетическая условность, а игра с большой исторической традицией. Она выталкивает нас на площадки истории, где реальность самости испытывается с величайшей серьезностью и страстью, хотя временами кажется, что в воздухе мелькают ножницы ложных портных, изготавливающих новый наряд короля. Пусть научная осторожность велит считать, что котируется не самость, а более «осязаемые» вещи и что самость, по-видимому, «выражается» в повествовании. Пусть постмодернизм, напротив, утверждает, что всё есть языковые игры. Смешивать содержание и форму — любимый прием духовной полиции. Самая свирепая инквизиция будет уверять, что судит не мысли, убеждения, желания, а распространение подрывной информации, лжеучения, идеологическую порчу, святотатство, клевету, аморальность,

предательство и т.д. Но подсудимый знает, что инквизиция лжет, что в инкриминируемых ему «осязаемых вещах» заключено его Я, что осуждается интимная и одновременно фундаментальная человеческая способность выражения. И в этом он неожиданно сойдется с палачами, которые в заключительном слове утешат жертву тем, что мучают его ради спасения души. Самые убийственные приговоры выносятся ради «самого» грешника. Искомый объект здесь установлен по взаимному согласию, это самость, хотя ее интерпретация совершенно различна. Постмодернистское суждение о том, что самость создается и что единственный способ избавиться от полицейско-идеологических онтологий состоит в том, чтобы разрушить метафизику, верно с уже приведенными оговорками: целью освобождения является указанное приватное Я. Пока изучаются конкретно-исторических приемы опосредования самости, очень трудно противостоять гуманистическому пафосу. Но дело меняется, когда речь заходит об универсализме опосредования и его возможных культурно-исторических пределах. В этом случае здоровый солипсизм и та же логика освобождения личности требуют поставить перед «Я есть рассказывание» простое «Я есть». Иначе освобождать будет некого. Так же как и охранять — поскольку наше приватное Я может существовать только в виду нацеленных на него социокультурных технологий. Исследование же нарратива и дает любопытный пример зондирования свободы в стороне от культурно-исторических императивов.

Я в рассказе занимает иное положение, чем в исследовании, поскольку само является смысловым разрывом, структурой отсутствия; все компоненты рассказа собраны вокруг этого персонажа, но его нет, как пресловутого Годо в пьесе С. Беккета. Интрига поддерживается непрерывностью повествования; даже если пьеса закончена — продолжение следует. Ожидать несуществующее лицо, разумеется, абсурдно, но ожидать или не ожидать — вопрос на деле риторический. Теоретический метанарратив пишется и когда его отрицают ради осмысленного субъекта науки — ведь вопрос «зачем я это делаю?» совсем не чужд этому субъекту «за сценой».

Научная логика ради заполнения лакун смыслообразования стремится к моделям с предельным объяснительным охватом, в которых наше Я объяснено тотально, например, к эволюционно-исторической эсхатологии. Исследовать предмет после того, как он «закрит», вряд ли актуально. Рассказ же легко последует и за предел предела, он будет повествовать о преодоленном Я с точки зрения того же Я. Что такое рассказ, как ни антиципация будущего, априорный синтез, не обязанный фиксироваться? Его императив — преодоление нормы, а не верность Закону. Субъект за сценой продолжает задавать вопросы, даже когда он публично отказывается от своего вечного «Я», вплетенного в силлогизмы. Поэтому культовая книга постструктурализма заканчивается ницшеанской репликой: «Дискурс — это не жизнь, у него иное время, нежели у нас, в нем вы не примиряетесь со смертью. Возможно, что вы похороните Бога под тяжестью всего того, что говорите, но не думайте, что из сказанного вы сумеете создать человека, которому удалось бы просуществовать дольше, нежели Ему» [5, с. 207].

Подведу культурно-исторический итог. Повествование никогда не подвергается жесткому нормированию из-за своей сложности и своей функции выражения самости, формирования Я и перевода его в ценностные эталоны, которые являются нормами

особого рода. Можно утверждать, что «эталонирование» повествовательных текстов на манер счетных единиц затруднительно. Повествовательный текст не измеряет другой текст, как линейка — длину доски. Уникальная природа повествования допускает только качественное сравнение двух повествований, но не их уподобление по количественным параметрам. Поэтому формулизация рассказа — редкий случай. Формулизация рассказа совершается, когда он используется наподобие физической вещи или как инструмент строго конкретного действия. Например, в магии, этикете, школьном обучении. Восточные культуры используют рассказ для операциональных целей несколько чаще, чем западные, поэтому они более тяготеют к повествовательной норме. Как и в Древней Греции, в Индии и Китае публичные речи регламентировались. Однако если на Западе нормированию подвергались грамматические, риторические и логические блоки речи, то на Востоке — содержание и форма текста в целом. Классическая китайская книга «И-ли» предлагает тексты, которые надо произносить за столом, на службе, на свадьбе и в других обстоятельствах.

«Различие между двумя подходами к регламентации речи отнюдь не было только техническим. При кодификации самого текста множество существенно различающихся между собой текстов мыслятся как конечное, заранее исчислимое, а создание самого нового сообщения предстает как воспроизведение одного из существующих образцов. В античной же доктрине многообразие текстов, хотя бы и складывающихся в предлагаемую композиционную матрицу, мыслилось как потенциально бесконечное, а соответственно и каждый индивидуальный текст подлежал изобретению, процессу творческому...» [2, с. 361].

Так получилось, что повествование подверглось на Западе не-сколько иной специализации, чем на Востоке. Здесь первые письменные произведения — «Илиада» и «Одиссея». Там — военные репортажи и распоряжения владык, заклинания, хозяйственные записи (глиняные таблички Кноса — это еще древневосточная подоснова эллинизма, не имеющая с ним духовной связи). Европейская традиция привыкла относиться к повествованию как частному опыту и самовыражению личности, поэтому рассказ-клише для нее вещь неестественная. Повествование как культурная форма отгорожено от сферы массового производства вещей. Тиражированные тексты, как и серийные джيوконы поп-арта, воспринимаются пародией на уникальность творческого самовыражения. Цитата, реплика должны быть оговорены, выделены кавычками, они — под защитой авторского права. Классика, священные книги — это не тексты-стереотипы, а медиумы сложного духовного отношения читателя и верующего с их автором-творцом. Интересно, что европейский письмовник, который в раннем средне-вековье был «китаизирован» (превратился в набор готовых текстов с пропуском для имени), возвратился к античному принципу общего риторического руководства, как только уровень грамотности чуть повысился. «То, что античную композиционную схему удалось применить здесь для преодоления представлений о многообразии допустимых текстов как конечном множестве воспроизводимых образцов, и доказывает, что она изначально опиралась на принципиально иные основания» [2, с. 362]. Можно добавить, что к этим основаниям относится и ожидание искренности, непосредственности письменного жеста. То, что любовное послание спокойно списано из романа, разоблачит истинные мотивы адресанта нам, но едва ли — средневековому

китайцу. Европейская традиция неизменно отступала от такой стандартизации сюжета, когда содержание и форма слились бы в репродуктивный повествовательный эталон. Ведь, в отличие от Востока, она не рассчитывает уложить разнообразие человеческих обстоятельств и поступков в канон этикета. С самого начала ей открывалось поле неформульных отношений повышенной со-циальной значимости. В античном полисе — непрерывные дискуссии, тяжбы, интеллектуальные и политические состязания индивидуального человека, и не только из элиты. В христианстве — очень сложный индивидуальный космос религиозных переживаний. Указанному полю не предполагалось быть конечным множеством, оно исходно рассчитывалось на индивидуальное расширение. Исполнителю предлагались средства, соединить их с содержанием должен был он сам. В отношении содержания у него была значительная степень свободы — от комбинирования готовых тем до придумывания новых. Следствием указанной ситуации было появление авторства (об его отличии от авторитета см. [1]) и динамика общественного утверждения авторских инноваций в сфере повествовательности, которую я назвал наррадигмой. Разумеется, и на Востоке эта динамика была. Там существовала богатейшая литература; самовыражение человека посредством слова и закрепление этих самовыражений в систему социальных ценностей были прекрасно известны. Однако наррадигматические циклы Востока на фоне европейских выглядят вялыми, растянутыми и аморфными. История гомеровского эпоса в сравнении с тысячелетними обстоятельствами собирания, редактирования, комментирования «Махабхараты» и «Рамаяны» покажется краткой и незамысловатой. «Илиада» и «Одиссея» — стройные античные постройки (простили) на фоне громадного, хаотичного, причудливого древнеиндийского колосса — ступы.

Компаративистские тонкости помогают очертить ядро повествовательной нормативности. Последняя также, грубо говоря, о том, сколько человеку отдать своего и сколько за это получить. Но предмет «повествовательной экономики» таков, что категории интереса и выгоды здесь превращаются в свою противоположность: человек стремится отдать не в меньшей, а то и в большей степени, чем получить, и видит в этом свою главную «выгоду». Ведь речь идет об установлении квоты на выражение индивидуальным человеком опыта своей жизни и своей самости в системе ценностей и усвоение другого опыта для построения самости из системы ценностей. Построение (приобретение) самости и есть ее расточение. Тот, кто ее раздаст, тот ее и приобретет. Он — автор, создатель — ведущее лицо в отношении. Правда, и его вклад не может быть безмерен, он ограничен не только пределами творческого самовыражения и возможностями каналов передачи, но и скоростью процессов социальной легитимации его продукции. В повествовательной нормативности прослеживаются следующие направления регулирования: а) коммуникативно-когнитивное (понимание содержания сообщения с помощью стандартов читабельности); б) жанрово-эстетическое (соответствие послания каналу и аудитории); в) экспрессивное (мера авторского самовыражения и персонализированности текста); г) аксиологическое (мера оценочности). Эти нормативные слои обеспечивают протекание развернутых сообщений о жизни так, чтобы у потенциального пользователя этих сообщений были определенные условия для отбора, корректировки сообщений и коммуникативного участия в них. Нам понятно, что в письме малознакомому человеку лучше воздержаться от полной откровенности и вообще не очень прилично слишком часто повторять «Я»; что следует

прислушиваться к собеседнику — будь это в устном общении или на бумаге; что в деловой бумаге неуместны стилистические красоты и т.д. Всё это — повествовательные регулятивы. Они регулируют взаимосвязь коммуникантов, но нам тем труднее уловить основную плоскость регулирования, чем дальше повествование от устной коммуникации и чем больше заслоняют собеседников технические средства закрепления и содержательно-информационные стороны. Блоки повествовательной системы распределяются так: аксиология (смысл, повествование как смыслостроение); коммуникация (в том числе медиативная, смысловая), материя (знакописьменная), персональный медиатор знаков (персонализированность текстов). Две стороны коммуникации в их цели — обмене сообщениями о себе, о смыслах и событиях своей жизни — преломляются в третьей, знакописьменной, которая из технической становится само-стоятельной участницей, трансформируя информацию и смыслы в персонажные фигуры и повествовательные цепи. Здесь активность вознаграждается степенью персонализированности авторских смыслов. Баланс автора и читателя, интро- и экстра- в динамике повествования столь тонко и сложно нюансирован, что определить его в виде нормы (да и вообще в виде зафиксированного правила) едва ли возможно. Некоторый крен в сторону этикетной уравновешенности автора и получателя в восточной словесности и в сторону доминирования авторского самовыражения в западной очевиден.

Баланс подвержен многократным колебаниям, так что выразить его точно, рационализировать по мерке невозможно. Особенность повествований в том, что системы эти — индивидуально создаваемые, становящиеся, *in statu nascendi*. И — на другой стороне — индивидуально усваиваемые в ходе личного потребления транслируемого опыта, который оформлен в повествовании. Поэтому система так текуча, что не может обзавестись такой натуроподобной нормативностью, которая и дает возможность другим наукам выставлять норму как паллиатив системы. Ее общим знаменателем становится не пространство, а время. Норма здесь выступает в процессе становления наррадигмы как динамика нормализации и легитимизации. Для идеологии — разумеется, неудобно, но это неизбежные издержки допущенной свободы самовыражения «Я». Отсюда и своеобразие данного нормативного кода: вместо явных норм — образы, намеки, вместо очерченной системы ценностей — сюжет и постоянные сложности с уточнением авторской идейно-художественной позиции. Но дозволенная степень свободы — не только послабление человеку в тисках нормативности. Она является социокультурным условием осуществления человечности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Языки русской культуры, 1996.
2. Гиндин С.И. Риторика и проблемы структуры текста: Комментарий I // Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. М.: Прогресс, 1988.
3. Леонтьев А.А. Факторы вариативности речевых высказываний // Основы теории речевой деятельности. М.: Наука, 1974.
4. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек-текст-семиосфера-история. М.: Языки русской культуры, 1996.
5. Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-центр, 1996.

6. Шкуратов В.А. Историческая психология: Изд. 2-ое, расширенное. М.: Смысл, 1997.
7. Шкуратов В.А. Первобытная культура // История культуры. Ростов н/Д: Феникс, 2001.